

ПОД ПРИКРЫТИЕМ ТРАВ

Это я – не я, а твоя среда.
На болоте – смерть, на лугах – цветы.
Я была песком, а теперь – вода.
Что увидишь в ней, что услышишь ты?

Как подуешь – станет вода рябой,
Заморозишь – будет кусками льда,
Подойдёшь – обернётся она тобой,
Спустишь флот – поддержит твои суда.

Но в большой воде не достать до дна,
По большой воде приплывут враги,
И во время шторма вскипит она,
Для себя взойдёт, а не для других.

Что увидишь в ней, что поймёшь тогда,
Что она страшнее, чем все враги?..
Будешь мучим жаждой – спасёт вода,
Бросишь камень – быстро пройдут круги.

За городом, за клёнами
Такая бирюза,
Природа воспалённая,
Как мамыны глаза.

Бывало, что работали:
Читали всё подряд,
Но вот они, но вот они
За клёнами горят.

Всё мается, всё шаткое,
Они следят весь день,
Как будто просят: «Шапку-то...
Ты шапку-то надень».

Спасут как будто что-нибудь,
Они, следя за мной...
Отрезок неба тоненький.
И голос за спиной.

Это было ранение лета,
Лебединая дрожь тетивы,
Жёлтый обморок хрупкой листвы,
Серый ропот оконного света.

А потом – в хрустале до апреля –
Как в гробу, было очень темно.
Уколовшись о веретено,
Спал под ворохом тезисов Ленин.

Таял сон одичавшего вяза,
Что оставлен был в белом снегу.
Я простить никого не могу.
Я прощаю тебя, мой бессвязный,

Потому что не будет покоя –
Ни приюта, ни хлебных полей.
Будет только один мавзолей,
А вокруг только минное поле.

Г.И.

За петербургскими морозами,
где катит памяти волна,
плывёт Вертинский в море розовом
с бутылкой белого вина.

В трамваях дни продолговатые
везет в утиль двадцатый век.
И распадается на атомы
сметённый вихрем человек.

Всё тонет в этом страшном вареве,
в надежде, в музыке, в слезах,
и комсомолочки кровавые
стоят у времени в глазах.

Какие зимы чёрно-белые,
какая русская тоска!
Рука, от горя оробелая,
орешек держит у виска.

Не дни, а годы окаянные
ползут, как червяки, точь-в-точь.
Лунатик, движимый снынием,
идёт на мировую ночь,

за занавес, за зиму млечную,
за йерский пасмурный прибой
и музыку остроконечную
вонзает в сумрак голубой.

Раздробленная в лужах синева,
 в которой мы – опавшая листва,
 к земле и сырости приколотая светом.
 Мы водный блеск, мы тонкие слова.
 Осенний пламенеющий отряд,
 где жизни в одночасье стоят
 не хуже веток.

Кто здесь герой, кто враг, кто командир?
 Кто боль страны укачивал в груди?
 И кто носился с текстом, как с младенцем,
 и верил, что всё будет впереди,
 но вместо этого в земельной тьме чернил,
 не выростив, он буквы хоронил,
 с кусками сердца?

Но может быть, не осень, а апрель?
 Мы таянья большая акварель
 и поле для решительных сражений,
 где белые гвардейские снега
 на красные восходят берега.
 Мы зеркало, мы чудо отражений.

под прикрытием трав убегает река
 дождь грохочет стрельба боевая
 по планете по всем её материкам
 кто стреляет по людям моим мотылькам
 кто боярышник им подливает в стакан
 как бесстрашно его выпивают

с бутербродом заветренных масляных букв
 белый мякиш центральных каналов
 и повесточный миксер взбивает фейсбук
 до белкового пика до поднятых рук
 и стеснённые шумом на солнечный звук
 улетают седые журналы

и сидишь ты такой над текучей Окой
 по тебе этот дождь тоже бьёт
 и всё кажется медленной грязной рекой
 за которой нет правды уже никакой
 над которой развешено чьей-то рукой
 перепачканное бельё

инфоливень гудит инфоливень идёт
 и весь мир пеленой занавешен
 ты под ливнем спокойно сидишь идиот
 потому что твой взгляд обращённый вперёд
 белоснежную правду ещё узнаёт
 в облаках и цветенье черешен

Приказали на топоре внести
Указ –
без всяких там обходных лазеек:
бабушки плохо сидят в театрах,
бабушки плохо сидят в музеях.
Всех изгнать.
Переизбыток древностей.

Небо над городом начинает рдеть.
Есть ли разница бабушкам, где сидеть?

Сложностями времена прошиты.
Опасностей вдосталь.
Пусть сидят по домам под защитой.
Пусть сидят со всеми удобствами.

Не дали открыть и рта нам.
Загнали на дно, как ихтиандров.
Изгнали бабушек из музеев.
Изгнали бабушек из театров.
Бабушки стали таять.

Потому что, когда отвернулись
и когда от целого отрезают части,
через щёлочку оконную и дверную
жизни не достучаться.

Таяли, таяли и растаяли.
Культура стоит пустая.

Но я знаю – растаяв, осадком культуры став,
они выпали все на своих постах:
этим «чщщщ», прокатанном сквозняками,
этим слежением за руками.
Они там – бессменные и живые,
Вечные стражницы угловые.

ЖД-ДИПТИХ

1

Не прислоняйся к стёклам между станций,
на них твой путь морозом накарябан.
Возьми меня себе в ориентир,
и мы помчим, земные арестанты,
по перегону из тепла в ноябрь,
и снег нас поведёт, как конвоир.

Пока прохлада входит через дверцы,
и снег бродячий в тамбуре смеётся,
стекло от напряжения звенит,
прошу тебя – держи мой слух у сердца,
у самого глубокого колодца,
который тянет звёзды, как магнит.

В движение проросшие, мы стали
 чёрт знает чем; к дверям не прислоняйся
 и к людям, людям тоже – знаешь сам –
 оборотятся общими местами,
 волнением, землистыми нанайцами,
 а поезд станет поездом в Пусан.

И в нём вдруг вместо женщин, стариков,
 детей, друзей... вагоны зомбаков,
 как в фильме, где никто нам не поможет,
 помчатся, и ты дернёшься бегом,
 но зомби уничтожат перегон,
 вишнёвый сад и дачи уничтожат.

И в конницу стальную, в толщу лет
 платоновский вонзится синий свет
 и снова машиниста огорошит,
 и он, всё понимающий дедок,
 Булгакова посадит за гудок
 и поведёт на ощупь через крошево

всех нас, всех нас, попавшихся в аркан,
 и Венечка опустошит стакан,
 смекнув, что никогда он не доедет
 ни в Петушки, ни в счастье, никуда,
 ведь свет живёт на ранних поездах,
 а те к Москве увёл его коллега.

И ночь вскипит, как кит, на берегу.
 Ничто её уже не отогреет.
 Перед концом земля забьётся тихо,
 и мертвецы возропнут: «Клейнмихель,
 мы строили дорогу в Петербург,
 какого чёрта движемся в Корею?»

И мы поймём, что всё, что кончен бег.
 И я к тебе прижмусь сквозь смерть и снег.
 А снег о нас расплачется в полёте.
 Но Анна вдруг (не та, что на ветру)
 наш поезд перепрыгнет на Фру-Фру
 и закричит: «Я больше не умру.
 И вы, вы все, вы тоже не умрёте!
 Не прислоняйтесь, господа, к стеклу».